

Океан в конце дороги

Автор:

Нил Гейман

Океан в конце дороги

Нил Гейман

От создателя знаменитых «Американских богов», «Никогда» и «Звездной пыли».

Захватывающая сказка-миф, блестяще рассказанная история одинокого «книжного» мальчика, имени которого читатель так и не узнает, в котором безошибочно угадываются черты самого автора.

Прогулка по фермам Сассекса приводит героя к дому древних богов, играющих в людей, и с этой минуты ткань привычного мира рвется и выворачивается наизнанку, а в прореху проникают существа иномирья – такие странные и страшные, что о них невозможно и помыслить.

Нил Гейман

Океан в конце дороги

Copyright © Neil Gaiman, 2013

© В. Нуриев, перевод на русский язык, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Аманде,

которая хотела знать.

«Я живо помню свое детство... мне были ведомы страшные вещи. Но я знал – взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало».

Морис Сендак,

из разговора с Артом Шпигельманом.

«Нью-Йоркер», 27 сентября 1993 г.

0.

Это был всего-навсего пруд с утками, позади фермы. Он был не очень большой.

Лэтти Хэмпсток говорила, это океан, но я знал, так не бывает. Она говорила, они приплыли сюда по океану со своей родины, из Древнего Края.

Ее мать говорила, что Лэтти уже не помнит, что дело это давнее, и в любом случае Древний Край ушел под воду.

Старая миссис Хэмпсток, бабушка Лэтти, говорила, что они обе не правы, что затонувший край не был таким уж древним. Она говорила, что еще помнит по-настоящему Древний Край.

Она говорила, по-настоящему Древний Край взлетел на воздух.

Пролог

На мне был черный костюм и белая рубашка, черный галстук и начищенные до блеска черные туфли: вещи, в которых обычно мне неуютно, будто я украл чужую униформу или притворяюсь взрослым. Сегодня они придавали какую-то уверенность. Подходящие вещи для трудного дня.

Утром на службе я говорил то, что предписано, и слово реченное шло от сердца, а когда служба кончилась, я сел в машину и поехал наугад, не глядя на карту, оставалось свободное время – около часа, прежде чем снова придется говорить с людьми, которых не видел много лет, жать руки и пить нескончаемый чай из лучших фарфоровых чашек. Я ехал петляющими проселочными дорогами Сассекса, с трудом узнавая местность, пока не понял, что дорога ведет в центр города, тогда я свернул с нее, взял влево, потом вправо. Тут только до меня дошло, куда я ехал, ехал с самого начала, и я тряхнул головой, удивляясь собственной глупости.

Все это время я стремился к дому, который давно ушел из моей жизни.

Я ехал по тракту – когда-то он был проселком у ячменного поля – и думал развернуться, думал повернуть назад и не ворошить прошлое. Но мне стало интересно.

Старый дом – тот, где я жил семь лет, пока мне не исполнилось двенадцать, снесли, от него ничего не осталось. Новый дом – тот, что выстроили родители в дальнем углу сада, между кустами азалии и зеленым кругом в траве, который мы называли кольцом фей, продали тридцать лет назад.

Увидев новый дом, я сбавил скорость. Для меня он всегда будет новым. Я остановился на подъездной дорожке посмотреть, что случилось с постройкой 1970-х. Совсем забыл, что кирпичи были шоколадно-коричневыми. Из маминого балкона сделали двухуровневую застекленную террасу. Я глядел на дом, думая о своем отрочестве, и вопреки ожиданиям почти ничего не мог вспомнить: ни хорошего, ни плохого. Когда-то я жил в этом доме. Но, похоже, ко мне нынешнему он уже не имел отношения.

Я дал задний ход и вывел машину с дорожки.

Я знал, надо ехать к сестре, в ее шумный, веселый дом, вычищенный по случаю и битком набитый людьми. Говорить с теми, о чьем существовании я давно и думать забыл, они будут спрашивать о моем браке (развалился десять лет назад, отношения потихоньку изнашивались, пока, как это, верно, всегда и бывает, вконец не расстроились); о том, встречаюсь ли я с кем (не встречаюсь, и даже не уверен, что готов, пока еще нет); и о моей работе – об искусстве (спасибо, с ней все хорошо, стану отвечать я, так и не научившись говорить о том, чем занимаюсь. Если бы мог, не нужно было бы работать. Я занимаюсь искусством. Иногда настоящим, и оно заполняет брешу в моей жизни. Некоторые из них. Не все). Мы будем говорить об ушедших. Будем говорить о тех, кто умер.

Узкий проселок моего детства стал теперь дорогой из темного бетона, границей между двумя раскидистыми жилыми массивами. Я ехал по ней прочь из города, не туда, куда должен был ехать, но на душе было радостно.

Темный глянцевый тракт становился все у?же, больше петлял, пока не превратился в тот самый знакомый проселок из утоптанного грунта и гальки.

Скоро я уже ехал по тесной дорожке, двигаясь медленно, подпрыгивая на кочках, а по обеим сторонам, в прогалинах между кустами лещины и высоким бурьяном, тянулись заросли ежевики и шиповника. Казалось, я проехал назад сквозь время. Все изменилось, а проселок остался прежним.

Я миновал «Тминный двор». Пришло на память, как мальчишкой шестнадцати лет я целую румяную, белокурую Келли Андерс, которая жила здесь и в скором времени переехала вместе с семьей на Шетландские острова, а я так ее и не поцеловал снова, да и больше не видел. Дальше по обеим сторонам дороги лишь поля, и так почти милю: путаная вязь из пойменных лугов. Медленно проселок

сужался. Он подходил к концу.

И прежде чем завернуть за угол, прежде чем увидеть сам дом Хэмпстоков из красного кирпича во всем своем обветшалом великолепии, я вспомнил его.

Дом застал меня врасплох, хотя всегда стоял там, где заканчивался проселок. Больше ехать было некуда. Я припарковал машину у забора, не зная, что теперь делать. Интересно, неужели по прошествии стольких лет здесь кто-то еще живет, или, точнее, живут ли здесь еще Хэмпстоки. Непохоже было, но, насколько я помнил, а помнил я не много, они были людьми, ни на кого не похожими.

Стоило выбраться из машины, как в нос ударил смрадный запах коровьего навоза, и я осторожно стал пробираться через маленький двор к входной двери. Так и не обнаружив звонок, я постучал. Дверь была неплотно затворена, и от стука слегка приоткрылась.

Я был здесь прежде, когда-то давным-давно, правда? Наверняка был. Детские воспоминания иногда скрываются и меркнут под грузом того, что приходит позже, как детские игрушки, забытые взрослыми на самом дне переполненной кладовки, но они всегда на чеку и ждут своего часа. Я остановился в прихожей и позвал: «Здравствуйте! Есть кто дома?»

В ответ тишина. Лишь запах свежего хлеба, восковой натирки для мебели и старого дерева. Мои глаза мало-помалу привыкали к темноте: я вглядывался в нее, уже собираясь повернуться и уйти восвояси, как из темного коридора вышла старая женщина с белой тряпкой для пыли в руках. У нее были седые длинные волосы.

«Миссис Хэмпсток?» – спросил я.

Она склонила голову набок, посмотрела на меня. «Да. А я ведь вас знаю, молодой человек», – проговорила она. Я не молодой человек. Уже нет. «Я вас знаю, но когда доживаешь до моего возраста, все начинает путаться. Так кто вы?»

«Кажется, мне было около семи, может, восьми, когда я был здесь в последний раз».

Она улыбнулась: «Так вы друг Лэтти? С того конца проселка?»

«Вы мне давали молока. Парного, из-под коровы». И тогда я понял, сколько лет прошло, и поправился: «Нет, это были не вы, наверное, меня поила молоком ваша мама. Извините». Мы стареем и превращаемся в своих родителей; живем-живем и видим, как со временем лица повторяются. Я помнил миссис Хэмпсток, маму Лэтти, статной, дородной женщиной. Эта женщина была хрупкой и выглядела немощной. Как ее мать, старая миссис Хэмпсток.

Иногда в зеркале я вижу лицо своего отца, не мое лицо, и вспоминаю, как он улыбался себе, глядя в зеркало перед выходом из дома. «Хорош, – говорил он, бывало, своему отражению одобрительно. – Хорош».

«Вы пришли повидаться с Лэтти?» – спросила миссис Хэмпсток.

«А она дома?» Сама мысль удивила меня. Она же куда-то уехала, нет разве? В Америку?

Старушка покачала головой. «Я как раз собиралась ставить чайник. Не хотите ли чаю?»

Я помедлил. Потом попросил, если она не возражает, проводить меня сначала к пруду.

«К пруду?»

Я знал, что Лэтти как-то странно его называла. Это я помнил. «Она звала его морем. Как-то так».

Старушка положила тряпку на буфет. «Вы же не выпьете воды из моря? Слишком солон. Это как пить живую кровь. Помните, как дойти? Чтобы попасть туда, обогните дом. Просто идите по дорожке».

Если бы час назад вы спросили меня, я ответил бы – нет, я не помню, как дойти. Даже не думаю, что вспомнил бы имя Лэтти Хэмпсток. Но в этой прихожей все возвращалось ко мне. Воспоминания ждали меня, проступая сквозь контуры предметов, и звали к себе. Скажи вы, что мне снова семь, и на мгновение я бы

почти поверил.

«Спасибо!»

Я вышел во двор. Прошел мимо курятника, за старый амбар и двинулся по полю вдоль края, узнавая места, припоминая, что мне встретится дальше, и радуясь этому знанию. На этой стороне луга выстроились в ряд кусты орешника. Я сорвал пригоршню неспелых орехов и опустил их в карман.

Сейчас будет пруд, подумал я. Нужно только обойти этот сарай, и я его увижу.

Я его увидел и почувствовал себя до странного гордым, будто с пробуждением памяти тревоги дня отступили.

Пруд был меньше, чем я его помнил. На дальнем берегу стоял маленький деревянный сарай, а у дорожки – старинная тяжелая скамья из дерева и металла. С досок облезала краска, их выкрасили в зеленый несколько лет назад. Я присел на скамью и стал смотреть, как отражается небо в воде, собирается ряска на водной кромке и плавают полдюжины листьев кувшинки. Время от времени я бросал орех в середину пруда – пруда, который Лэтти Хэмпсток называла...

Морем или как-то ещё?

А сейчас Лэтти Хэмпсток, верно, была старше меня. Но, судя по тому, как она тогда чудно выражалась, всего на несколько лет. Ей было одиннадцать. А мне... сколько было мне? Это произошло после того неудачного дня рождения. Я точно помню. Так что мне, наверное, было семь.

Интересно, а в пруд мы не падали? Может, это я столкнул туда странную девочку, жившую на ферме в самом конце проселка? Мне помнилось, как она была вся в воде. Может, она тоже толкнула меня.

Куда она уехала? В Америку? Нет, в Австралию. Точно. Куда-то далеко-далеко.

И это было не море. Это был океан.

Океан Лэтти Хэмпсток.

Я вспомнил, и, вспомнив это, я вспомнил все.

1

На мой седьмой день рождения никто не пришел.

Стол ломился от фруктового мармелада и сливочно-ягодных десертов, возле каждой тарелки стояло по праздничному колпаку, посреди стола красовался торт с семью свечами. На нем глазурью была выведена книга. Мама, которая и занималась подготовкой праздника, сказала, что дама из булочной удивилась – они еще не рисовали на тортах книги, в основном для мальчиков заказывали футбольный мяч или космический корабль. Я – их первая книга.

Когда стало ясно, что никто не придет, мама зажгла свечи, и я их задул. Съел кусочек торта, моя младшая сестра и ее подруга тоже (они не участвовали в празднике, только смотрели), потом они помчались, пересмеиваясь, в сад.

Мама приготовила игры, но никого не было, даже сестры, игры лежали нетронутыми, и я сам развернул главный приз «Передай другому», там оказался пластмассовый Бэтмен. Было грустно, что никто не пришел, но зато у меня был свой Бэтмен, а еще подарок на день рождения, который ждал, пока я его прочту, – коллекционное издание книг про Нарнию. Я отнес книги к себе, растянулся на кровати и с головой ушел в чтение.

Читать мне нравилось. Как ни крути, книги были надежнее людей.

Еще родители подарили мне сборник «Лучшее из Гилберта и Салливана», у меня уже было две их пластинки. Я любил Гилберта и Салливана с трехлетнего возраста, с тех пор, как младшая сестра отца, моя тетка, повела меня на «Иоланту», оперу про лордов и фей. Мне казалось, что фей понять легче, чем лордов. Вскоре она умерла в больнице от лейкемии.

В тот вечер отец вернулся с работы и принес с собой картонную коробку. В коробке был пушистый черный котенок непонятного пола, он тут же получил имя Пушок и всю мою любовь без остатка.

Ночью Пушок спал со мной на кровати. Иногда, когда сестры не было рядом, я разговаривал с ним, немного надеясь, что он ответит по-человечески. Он не отвечал. Меня это не расстраивало. Котенок был ласковый и жадный до внимания – хороший товарищ для того, кто свой седьмой день рождения отпраздновал в компании стола с глазированными пирожными, бланманже, торта и пятнадцати пустых складных стульев.

Не помню, чтобы я спрашивал одноклассников, почему они не пришли ко мне на праздник. Мне не нужно было их спрашивать. В конце концов, они не были мне друзьями. Они просто учились в той же школе.

Я медленно сходил с людьми, если вообще сходил.

У меня были книги, а теперь и котенок. Я знал, мы будем, как Дик Уиттингтон и его кот, или, если Пушок окажется особенно смышленным, как сын мельника и Кот в сапогах. Котенок спал у меня на подушке, он даже ждал меня из школы, сидя на подъездной дорожке перед домом у ограды, пока через месяц его не задавило такси, в котором ехал добытчик опалов – он должен был квартироваться у нас.

Когда это случилось, меня не было дома.

Я вернулся из школы, а котенок меня не встречал. В кухне сидел долговязый поджарый мужчина со смуглой кожей и в клетчатой рубашке. Он пил кофе за столом, я почувствовал запах. Тогда весь кофе был растворимый, горький темно-коричневый порошок из жестяной банки.

«Боюсь, у меня тут небольшое происшествие, – начал он бодро. – Но чур, не волноваться». Он говорил необычно, будто рубил слова: я в первый раз слышал, как говорят южноафриканцы.

Перед ним на столе тоже стояла картонная коробка.

«Черный котенок был твой?» – спросил он.

«Его зовут Пушок», – сказал я.

«Ага. Я же сказал. Тут происшествие. Только не волноваться. От тела избавились. Тебе ничего делать не надо. Обо всем позаботились. Открывай коробку».

«Что?»

Он ткнул в коробку и повторил: «Открывай».

Добытчик опалов был высокого роста. Каждый раз, как я его видел, он был в джинсах и клетчатой рубашке, каждый раз, кроме последнего. Он носил на шее толстую цепь из светлого золота. В последний раз, когда я его видел, она тоже куда-то делась.

Я не хотел открывать коробку. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Мне хотелось плакать, потому что мой котенок умер, но я не мог, когда кто-то был рядом и смотрел на меня. Мне нужно было выплакать скорбь. Я хотел похоронить своего друга в дальнем конце сада, за кольцом фей, где кусты рододендрона, сплетаясь, образуют грот, у кучи из прелой травы, там, куда кроме меня никто не ходил.

Коробка шевельнулась.

«Купил для тебя, – произнес человек, – Всегда плачу по долгам».

Я потянулся к коробке, поднял крышку в надежде, что все это шутка, что там мой котенок. Оттуда на меня уставилась свирепая рыжая морда.

Добытчик опалов вытащил кота наружу.

Это был огромный, рыжий, полосатый котяра, у которого недоставало пол-уха. Он злобно глядел на меня. Коту не по нраву пришлось в коробке. Он не привык к коробкам. Я протянул руку погладить его по голове, но он отпрянул, чтобы я не достал, и зашипел, а потом отполз в дальний угол комнаты, сел там и стал

смотреть на нас ненавидящим взглядом.

«Вот видишь. Баш на баш», – сказал добытчик опалов и потрепал меня по волосам своей заскорузлой рукой. Он вышел в коридор, оставив меня в кухне с котом, который не был моим котенком.

В дверном проеме снова показалась голова мужчины. «Его зовут Монстр», – сказал он.

Это напоминало дурную шутку.

Я оставил дверь кухни открытой, чтобы кот мог выйти. Поднялся наверх в комнату, лег на кровать и заплакал, я оплакивал умершего друга. Не думаю, что вечером, когда родители вернулись с работы, кто-то вспомнил в разговоре о моем котенке.

Монстр жил с нами около недели или чуть больше. Я накладывал ему в миску еды утром и вечером, как своему котенку. Обычно он сидел у двери и ждал, пока я или еще кто-нибудь не выпустит его. Мы видели, как он шныряет по саду от куста к кусту, лазает по деревьям или прячется в ветвях. За его перемещениями можно было следить по задушенным лазоревкам и дроздам, которых мы находили в саду, но сам он появлялся нечасто.

Мне очень не хватало Пушка. Я знал, что живое существо нельзя заменить просто так, но поговорить об этом с родителями не решался. Они бы не поняли моего горя: в конце концов, вместо убитого котенка мне дали нового. Ущерб возмещен.

Все это пришло мне на память, пока я сидел на зеленой скамье у маленького пруда, который, как уверяла когда-то меня Лэтти Хэмпсток, был океаном, все это вернулось ко мне, но я знал, что ненадолго.

Ребенком я не был счастлив. Иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще.

В нашем доме было много места и много комнат; когда мы его купили и у отца водились деньги, это было хорошо, а потом – нет.

Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет: они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах и что нам всем придется чем-то жертвовать, что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнаткой на самом верху. Я огорчился: мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький, как раз для меня; комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную, так что ночью у себя наверху через приоткрытую дверь я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты, и, что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда.

Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояло три кровати, я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились – ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью; наш незамедлительно вспыхнувший спор оставлять дверь открытой или нет тут же разрешила мама – она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали.

Моя бывшая комната на самом верху у лестницы сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением: они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку; студент-архитектор из Новой Зеландии; американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты, а теперь добытчик опалов.

Он был южноамериканец, хоть и зарабатывал деньги на добыче опалов в Австралии. Мы с сестрой каждый получили от него опал, грубый темный камень

с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка.

Был первый день весенних каникул: впереди три недели, и никакой школы. Я проснулся рано – в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать. Узнавать новое.

Я натянул шорты, футболку, сандалии. Спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап! А где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев, и в субботу утром я их читал.

«На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?»

«Хочу. Только не горелый».

Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали.

Я выскочил из дома на подъездную дорожку. Огляделся по сторонам. Вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны – наружу и внутрь – чтобы слуги шестьдесят лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок.

«Пап? А где машина?»

«Стоит на дорожке».

«Там ее нет».

«Ка-ак нет?»

Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку, телефон висел там. Я услышал, как он говорит с кем-то.

На гриле тост начал дымиться.

Я слез со стула и выключил гриль.

«Это из полиции, – сообщил отец. – Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда, они нас там встретят. Тост!»

Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны.

«А мои комиксы на месте? Или их украли?»

«Не знаю, полицейский про них ничего не сказал».

Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку.

Мы шли уже, наверное, минут пять по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени.

Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомек, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их. Он утверждал, они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке и почти безвкусный – вот какой.

Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем.

Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще немощеный, грязный, ухабистый и суматошный, шириной не больше одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем.

«Ох, уж эта мне ребятня, – ворчал полисмен. – Они думают, это смешно. Угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местные».

«Я рад, что хотя бы нашлась быстро», – сказал отец.

Мы миновали «Тминный двор», оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми, когда мы проезжали, она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях.

«Странно, однако, что они оставили ее здесь, – произнес полисмен. – Это же совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно».

Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги напротив ворот у поля, его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы втроем направились к «мини», пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки, отец запасным ключом пытался открыть заднюю дверь.

Он сказал: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили». Он наклонился и, несмотря на возражения полисмена, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади, я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел – там лежало оно.

То, что я увидел, не выглядело как человек, это было оно.

Хоть я и отличался живым воображением и мне снились ночью кошмары, я упросил родителей взять меня в Лондон в Музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было шесть лет, потому что хотел побывать в комнате страха – в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными, угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей – обычно своих квартиросъемщиков или родственников – и которых тоже потом убивали: вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами в неуклюжих бытовых зарисовках – за обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды анатомии. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое анатомия. Знал только, что она

заставляет людей убивать собственных детей.

Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть, как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми.

То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом (Я знал это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки, им укрывались, когда холодало), тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было.

Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов – с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь как в телевизоре.

Я не помню, кто и что говорил потом, помню только, что меня увели от «мини». Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и что-то записывал в блокнот.

Я разглядывал «мини». От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился.

На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл.

Дома все самые горелые места у тоста ел отец. «Ням-ням! – приговаривал он. – Древесный уголь – полезно для здоровья!» или «Горелый тост! Любимый тост!» и съедал его целиком. Когда я был гораздо старше, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их, только чтобы не отправлять в мусор – за долю секунды все мое детство стало ложью: как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах.

Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации.

Затем пересек дорогу и подошел ко мне. «Извини, сынок, – сказал он. – Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину?»

Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел.

Кто-то, какая-то девочка предложила: «Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот».

Она была намного взрослее меня, одиннадцати лет, не меньше. Волосы, коротковатые для девчонки, курносый нос. В веснушках. Красная юбка – в то время девочки не часто носили джинсы, не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые, с голубизной, глаза.

Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом, ей разрешили взять меня с собой, и теперь я шел вместе с ней вниз по проселку.

Я заговорил первым: «Там, в нашей машине, человек умер».

«Да, он сюда за этим и приехал, – ответила она. – Конец дороги. В три часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая».

«Думаешь, он покончил с собой?»

«Да. Ты любишь молоко? Ба как раз доит Бесси».

«Что, настоящее молоко, прямо из-под коровы?» – спросил я и тут же понял, что сказал глупость, но она утвердительно кивнула.

Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки. «Наверное, люблю».

Мы остановились у небольшого сарая, в нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину, и худым лицом, стояла рядом с коровой. К коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки. «Раньше мы их доили руками, – пояснила она. – Но так проще».

Она показала мне, как молоко идет по черным трубками от коровы к машине, через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик.

Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил: оно разливалось полнотой вкуса во рту – наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное.

«Там, на проселке, их теперь еще больше, – сказала вдруг старая женщина. – Кого только нет, и едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню. Он голоден, что такое стакан молока для растущего организма».

«Ты уже ел?» – спросила девочка.

«Только один тост. Горелый».

Тут она представилась: «Меня зовут Лэтти. Лэтти Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Пойдем». Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню, усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица.

«Мы здесь рано завтракаем, – объясняла девочка. – Дойка начинается на рассвете. Но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить».

Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей – в центре висилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого – и налила туда сливок. Перед тем как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво, и небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный.

Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью. Круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила: «А это, должно быть, мальчик с того конца проселка. Там такое

творится из-за этой машины. Скоро всех пятерых надо будет поить чаем».

Лэтти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета пять щербатых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила: «Ты права. Шесть. Доктор тоже придет».

Тут женщина поджала губы и шикнула: «Тсс!» «Они прошляпили записку, – пояснила она. – Он старался-старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман, а они так туда и не заглянули».

«И что в ней?» – спросила Лэтти.

«Сама прочти», – предложила женщина. Я подумал, что это мама Лэтти. Она выглядела как чья-то мама. Она опять заговорила: «Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов, поехал играть в казино в Брайтон, но он не хотел брать чужие деньги. Он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться».

«И все спустил, – подытожила женщина. – И жизнь померкла».

«Но он же не это написал, – возразила Лэтти, зажмурив глаза. – Он написал:

Всем моим друзьям,

Очень виноват, я не нарочно, и, надеюсь, ваше сердце сможет простить мне то, что я не могу простить себе сам».

«Это одно и то же, – бросила в ответ женщина и повернулась ко мне: – Я мама Лэтти, – начала она. – А мою мать ты уже видел – в коровнике. Я миссис Хэмпсток, но она стала миссис Хэмпсток еще до меня, так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в Книгу Судного дня».

У меня на языке вертелся вопрос, почему все эти женщины звались Хэмпстоками, откуда они узнали о записке или о том, что думал добытчик опалов перед смертью, но я молчал, мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально.

Лэтти сказала: «Я его слегка подтолкнула, он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался».

«Вот и умница! – похвалила ее миссис Хэмпсток. – Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. Может, ты отведешь мальчика к пруду?»

«Это не пруд, – поправила ее Лэтти. – Это мой океан. – Она повернулась ко мне и сказала: Пойдем». Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли.

Снаружи все еще хмурилось.

Мы обогнули дом по коровьей тропе.

«Это правда океан?» – поинтересовался я.

«О да!» – ответила она.

Он возник неожиданно: деревянный сарай, старая скамья и между ними пруд, темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба.

«Непорядок», – пробормотала Лэтти.

«Ты же говорила, это океан, – заметил я ей. – А это всего лишь пруд».

«Это и есть океан, – возразила она. – Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины – из Древнего Края».

Лэтти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок. Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе. И вытащила ее.

«Подожди, ферма Хэмпстоков занесена в Книгу Судного дня, – решил уточнить я. – Твоя мама ведь так сказала. А это было еще при Вильгельме Завоевателе».

«Да», – подтвердила Лэтти.

Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще не доводилось видеть такого соцветия: да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом.

«Что это за рыба?» – спросил я.

«Очень странно, – проговорила она. – В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает». Откуда ни возьмись в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой, она воткнула нож в рыбье брюхо и распорол его вдоль до хвоста.

«Вот что убило ее», – пояснила Лэтти.

Она достала что-то из рыбы. И сунула это что-то, скользкое и грязное от рыбьих кишок, мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы отчистить. И поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории.

«Шестипенсовик? – удивился я. – Рыба проглотила шестипенсовик?»

«Непорядок ведь?» – нахмурилась Лэтти Хэмпсток. Проглянуло солнце: оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу, а там, где солнечный луч касался ее волос, прядки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась: «Твой отец беспокоится, куда ты пропал. Пора идти обратно».

Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой. «Оставь себе, – сказала она. – купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов».

«Нет, вряд ли, – возразил я. – Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли такие сейчас в магазине».

«Тогда сунь его себе в свинью-копилку, – предложила она. – Может, он принесет тебе удачу». Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет.

Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Лэтти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным: если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай.

Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Лэтти за то, что позаботились обо мне, те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до «мини», отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки.

«Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», – сказал отец.

Я и не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место, у меня появился новый друг, пропали комиксы, а в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик.

Я только спросил: «Чем океан отличается от моря?»

«Он больше, – пояснил отец. – Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?»

«Просто так, – сказал я. – А океан может быть маленьким, как пруд?»

«Нет, – ответил отец. – Пруд, он размером с пруд, озеро – размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет».

Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой и чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиной-копилки, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить, а пока в ней оставалось еще много места.

Больше я нашего «мини» не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный «ровер» с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше «мини», но не такой удобный. Запах старых сигар въелся в кожаную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в «ровере» нас всегда укачивало.

В понедельник утром доставили не только черный «ровер». Еще мне принесли письмо.

Мне было семь лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне.

И этим утром кое-что пришло.

Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме.

«Ты выиграл в лотерею», – объяснила она.

«Как это?»

«Когда ты родился – с рождением каждого внука бабушка покупала по билету Национальной лотереи. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть сотни тысяч фунтов стерлингов».

«Я выиграл сотни тысяч фунтов стерлингов?»

«Нет. – Она взглянула на полоску бумаги. – Ты выиграл тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов».

Я огорчился, что не выиграл сотни фунтов стерлингов (Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному, как пещера Бэтмена, с потайным входом), но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов. Можно было купить четыре маленьких лакричных тянучки «Черный Джек» или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни: каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов, если в одном фунте стерлингов 240 пенсов, и на каждый пенни приходится по четыре конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить.

«Я положу их тебе на счет», – сказала мама, возвращая меня на землю.

К конфетам, что мне дали утром, сладостей не прибавилось. Но даже так я был богачом. На тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал, никогда.

Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его к себе в сумку.

Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать (миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши, полупрозрачные резиновые ботинки, приходила после обеда по средам убираться), копал овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в три пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самое позднее 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом.

Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них пару фунтов стерлингов.

Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир – хорошее место.

Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают? Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали, но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой, и я знал, что это должен быть сон (но во сне я не знал, что это была явь и все взаправду), потому что с ними был дедушка и его друзья, старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее, они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот.

У дедушки (только это был не мой дедушка: на самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии) в руках было что-то тонкое и блестящее, он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое, я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус.

А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом, я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия.

Я проснулся, задыхаясь.

Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое, оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять, по щекам бежали слезы, из носа текло.

От отчаяния и страха я отважился и сунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого, я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла.

Жадно глотнул воздуха, и меня стошнило прямо на простыни, вышло немного слизи вперемешку с кровью – я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет.

Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи, оно лежало у меня в ладони. И я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью.

Я помчался по коридору в ванную, вниз – в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался.

Но то, что лежало у меня в руке – то, что оказалось у меня во рту – не было страшным. Это была монета: серебряный шиллинг.

Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил, как мог, испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз.

Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать – если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже?

В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула: «Ненавижу тебя. Все расскажу маме и папе, когда они вернутся».

«Что расскажешь?»

«Сам знаешь, – сказала она. – Я знаю, это был ты».

«Где был я?»

«Бросал монеты в меня. В нас. Из кустов. Это просто отвратительно!»

«Но я не бросал».

«Это же больно!»

Она вернулась к друзьям, они все тарасились на меня. Горло драло, глотать было больно.

Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти, – мне просто не хотелось больше там находиться.

У края дорожки под каштанами стояла Лэтти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще сто. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна.

«Привет!» – поздоровался я.

Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?»

Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него, – пояснил я, – когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там».

«Да», – подтвердила она.

«Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я».

«Нет, – согласилась она. – Не ты».

Я спросил: «Лэтти? Что происходит?»

«Что-что, – сказала она, как будто все было ясно. – Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и берedit сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок».

«Это как-то связано с умершим человеком?»

«Как-то связано. Да».

«Это он делает?»

Она отрицательно покачала головой. И спросила: «Ты уже завтракал?»

Я тоже покачал головой.

«Ну, тогда пойдём», – предложила она.

И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо, Лэтти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала. «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».

«В смысле, что-то?»

«Он видит себя. Но из глаз лезут пальцы. И что-то лезет изо рта. Наподобие щупальцев краба».

Я представил, как люди глядятся в зеркало и у них изо рта вылезают щупальца краба. «Почему у меня во рту оказался шиллинг?»

«Он хотел, чтобы у людей были деньги».

«Добытчик опалов? Который умер в машине?»

«Да. В каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое».

Она поскребла свой веснучатый нос грязной рукой.

«Здесь хозяйка сошла с ума, – продолжила свой рассказ Лэтти, и мне бы в голову не пришло сомневаться в ее словах. – У нее в матрас зашиты деньги. И теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».

«Откуда ты знаешь?»

Она пожала плечами. «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».

Я пнул ногой камень. «"Какое-то время" – это значит "долго-предолго"?»

Она кивнула.

«А сколько тебе лет на самом деле?» – спросил я.

«Одиннадцать».

Я подумал немного. Потом снова спросил: «И сколько уже лет тебе одиннадцать?»

Она улыбнулась мне.

Мы прошли «Тминный двор». Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс, они кричали друг на друга. А увидев нас, затихли.

Когда мы скрылись за поворотом, Лэтти сказала: «Вот бедные».

«Почему бедные?»

«Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она... она занимается дурными вещами. Чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по десять шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».

«Все эти ссоры, сны. Это все из-за денег?»

«Не уверена», – ответила Лэтти и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался.

«Что бы это ни было, – сказала она, поразмыслив, – это все можно выправить. – Она увидела мое лицо, обеспокоенное. Даже напуганное. И добавила: – Но сначала блины».

Блины Лэтти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получились не толще бумаги, блин готовился, Лэтти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью.

На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. В этой кухне мне ничего не грозит, подумал я.

«Мне страшно», – признался я Лэтти.

Она улынулась. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно».

А мне все еще было страшно, но уже не так сильно. «Просто все это жутко».

«Я же пообещала, – заверила меня Лэтти Хэмпсток. – Я не позволю, чтобы тебе навредили».

«Навредили? – раздался высокий, скрипучий голос. – Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»

Это была старая миссис Хэмпсток, она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым, и казалось, будто вся кухня залита солнечным светом.

Лэтти стала объяснять: «Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву». Она показала старушке мой шиллинг. «Мой друг утром проснулся, задыхаясь – у него в горле застрял этот шиллинг».

Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Лэтти шиллинг. Посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала (во всяком случае, поднесла к уху) и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.

«Он новый, – заключила она. – На нем написано тысяча девятьсот двенадцатый год, но еще вчера его не было и в помине».

Лэтти согласилась: «Я знала, что с ним что-то не так».

Я взглянул на старую миссис Хэмпсток: «А как вы узнали?»

«Хороший вопрос, милочка. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. А нейтроны серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбицей, чем нужно для тысяча девятьсот двенадцатого года, так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чутко острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит словно их нарочно сточили».

«Должно быть, у вас очень хорошее зрение», – заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.

«Уже не такое как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится». И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное.

«А сколько мне еще жить до этих ваших лет?»

Лэтти глянула на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст, а иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было семьдесят семь, а мистеру Уоллери – восемьдесят девять, и они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось.

Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз. «Еще порядочно, – ответила она. – Я помню, как луна родилась».

«А она разве не всегда была?»

«Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо – оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее...» Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы, по полдюйма от каждого стебля.

Я снова спросил: «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?»

И девочка, и старая женщина засмеялись, я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился: «Простите».

«Привидения не могут ничего создавать, – разъяснила мне Лэтти. – Они даже двигать вещи толком не могут».

Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей: «Сходи за матерью. Она стирает. – А затем – мне: «Ты подсобишь мне с нарциссами».

Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным.

В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу – красная плитка. Стены выбелены известкой.

Старушка подала мне выщербленное блюдце с куском пчелиной соты из улея Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я ел соту ложкой, пережевывая воск, как жвачку, мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный.

Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появились Лэтти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила. «Мама! – воскликнула она. – Кормить мальчика медом! Ты же испортишь ему зубы».

Старая миссис Хэмпсток повела плечами. «Я переговорю с этой неумной мелкотней у него во рту, – заверила она. – Они не тронут его зубы».

«Ты же не можешь вот так командовать бактериями, – возразила миссис Хэмпсток. – Они этого не любят».

«Сущий вздор, – отмахнулась старушка. – Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр. – Она обернулась ко мне. – Я за свой сыр медали получала. Медали! В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом, а королевичи – Дикон, Джеффри и даже маленький Джон клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали...»

«Ба», – одернула ее Лэтти, и старушка осеклась.

Мама Лэтти сказала: «Тебе понадобится ореховый прут. И... – добавила она задумчиво, – я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг, с ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала».

«Она?» – удивилась Лэтти.

Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой, лезвие было спрятано.

«Похоже, что она, – ответила мама Лэтти. – Но учти, я могу ошибаться».

«Не бери с собой мальчика, – вмешалась старая миссис Хэмпсток. – Накличешь беду».

Я расстроился.

«Все будет хорошо, – заверила ее Лэтти. – Я о нем позабочусь. И о себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста?»

Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.

«Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», – проворчала старая миссис Хэмпсток.

«Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу. И буду глядеть в оба».

Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом. «Ну, тогда смотри, не напортачь. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».

«Да знаю я, – сказала Лэтти. – Все наизусть знаю. Честно. Все обойдется».

Вот что она сказала. И не обошлось.

4

Лэтти повела меня в заросли лещины у старой дороги (по весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек) и ыломала прут. Ножом очистила его от коры так, будто делала это уже мириады раз, укоротила, и прут стал похож на рогатку. Она спрятала нож (я так и не понял куда) и взяла по концу рогатки в каждую руку.

«Это – не волшебная лоза, – объяснила она. – Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю... синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее».

Мы огляделись. «Я ничего такого не вижу».

«Еще увидишь», – заверила она меня.

Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую, с рыжиной, курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки, ржавый трактор, деревянный стол-помост рядом с дорогой и на нем шесть пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавший лапы. Весенние цветы – заполонившие всё белые и желтые ромашки, золотистые лютики (лютик верный даст ответ, любишь масло или нет)[1 - У англичан есть поверье: если цветок лютика зажать под подбородком и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло.], одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя – одинокий колокольчик, еще блестящий от ро...

«Он?» – выкрикнул я.

«А у тебя меткий глаз», – похвалила она.

Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Лэтти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, не доступные моему зрению. «Черное, – вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне. – И мягкое».

Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов и у места, где нашелся «мини», она обнаружила это: клочок черной ткани на колючей ограде.

Лэтти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение. «Красный, – уверенно сказала она. – Ярко-красный. Туда».

Мы пошли в указанном направлении. Через пойменный луг в перелесок. «Вон», – показал я, замороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного – по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови. Ярко-красные.

«Теперь, – напутствовала Лэтти, – держи меня за руку. Не отпускай!»

Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила: «Сюда».

«А что мы теперь ищем?»

«Мы подходим ближе, – сказала она. – Теперь нам нужна гроза».

Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу, пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскивали прогалину и шли вдоль нее, все вокруг стало зеленым.

Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.

«Гроза», – пропела Лэтти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель.

Мы опять сменили направление. Вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.

«Мы на месте?» – оживился я.

«Нет, – сказала она. – Еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует. И не хочет, чтобы мы до него добрались».

Ореховый прут завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Лэтти улыбнулась.

Порыв ветра швырнул листьев и земли нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу листьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи или утро разом перешло в сумерки.

Лэтти крикнула: «Пригнись!» и приникла к покрытой мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я – подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.

«Сколько нам еще?..»

«Ш-ш-ш!» – шикнула она на меня почти злобно. Я замолк.

Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями, с лицевой стороны у ковра была пасть, она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз.

Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло.

«Что это было?» – спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах.

«Шкуроволк, – ответила Лэтти. – А мы зашли дальше, чем я думала». Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться.

«Ничего не чувствую». Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки. «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко». Она закусила губу. И попросила: «Шиллинг. Ну, тот, что был у тебя во рту. Достань его».

Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей.

«Нет, – отказалась она. – Мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки».

Я не спросил зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Лэтти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала: «Смотри!»

Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями.

«Нет, сюда смотри». Она сделала знак головой.

На конце ореховый прут слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом.

«Никогда раньше такого не видела, – удивилась Лэтти. – По идее монета должна усиливать сигнал, а тут...»

«Пшшш-буум!» и на конце рогатки вспыхнуло пламя. Лэтти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив

шиллинг пальцами, на случай если он разогрелся, но он был холодным как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле, его обугленный конец все еще сильно дымился.

Лэтти шла дальше, я шел рядом. Теперь мы держались за руки: моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка, мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.

«Я же говорила, что не дам тебя в обиду?» – напомнила Лэтти.

«Да».

«Я обещала, что не позволю тебе навредить».

«Да».

«Просто держи меня за руку, – продолжала она. – Не отпускай. Что бы ни случилось, только не отпускай».

Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.

«Держи за руку, – повторила она. – И ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?»

«Мне все равно как-то не по себе», – заметил я.

Она не пыталась меня обнадежить. Лишь сказала: «Мы зашли дальше, чем я себе могла представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут».

Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность.

Я спросил: «А далеко мы от вашей фермы?»

«Нет. Мы все еще в ее пределах. Ферма Хэмпстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали из Древнего Края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами».

Я не знал, куда мы зашли, но мне не верилось, что мы все еще на земле Хэмпстоков, и этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа; растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы.

Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь, как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Лэтти Хэмпсток.

«Все, – сказала она. – Мы на месте».

Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение: оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе – сооружение кренилось набок, обветшалое, побитое временем и непогодой.

И тут оно повернулось, я увидел его лицо, услышал чье-то поскуливание, так скулит собака, которую пнули ногой, а потом до меня дошло, что поскуливал я.

Вместо лица были лохмотья, вместо глаз – две глубокие щели в ткани. За ними – пустота, просто серая маска из дерюги, намного больше, чем я вообще мог себе представить, вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра.

Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами.

Лэтти Хэмпсток приказала: «Назови себя».

Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра: «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно. Еще до того, как люди стали приносить в жертву друг

друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру». Точно рваный парус, взметнулась в воздух ее тряпка-рука, и меня охватил озноб.

Лэтти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила: «Слышь, ты, я велела назвать себя. Не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать, и пеняй на себя». Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе: когда она злилась, ее речь звучала иначе.

«Нет, – прошелестело спокойно тряпичное существо. Девочка, девочка... кто твой друг?»

Лэтти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.

«Мне это начинает надоедать, – подала голос серая грудa лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками. – Что-то явилось ко мне с мольбой о любви и помощи. Оно поведало, как осчастливить всех подобных ему. Они – существа простые, все, что им нужно, – это деньги, только деньги, и ничего больше. Маленький кругляшок-за-работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой, абсолютный покой...»

«А ну, хватит! – приказала Лэтти Хэмпсток. – Тебе нечего дать им. Не лезь к ним».

Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами, а когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек.

Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками.

Теперь рука у Лэтти была влажной. Она стиснула мою ладонь – подбодрить ли меня или себя, не понятно, но я сжал ее руку в ответ.

Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в

меня, в каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все – даже то, что я сам о себе не знал.

Девочка, державшая меня за руку, пригрозила: «Не назовешься, свяжу тебя, как безымянную вещь. И будешь связанная, привязанная, запечатанная яко призрак какой или баргест».

Она замолкла, существо не отвечало, и Лэтти Хэмпсток начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше мне не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели: «Мальчишки, девчонки, гулять идем!» Мелодия была та самая, но слова Лэтти были еще старше. В этом я был уверен.

И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить.

Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног.

Что-то выстрелило в нас из самой гущи развевающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Лэтти Хэмпсток, и не успел я подумать, как взял и сделал.

Вытянул обе руки и поймал его – косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль: что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку.

Лэтти выбила у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее. При этом, не прекращая петь.

Эта песня являлась мне во снах, ее странные слова, незатейливый детский мотив, и иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на праязыке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия, все сказанное на нем претворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он – главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать; однажды мне

приснилось, что я владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил: «Исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы.

И, так как Лэтти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений.

Лэтти Хэмпсток закончила петь.

Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательства, но под оранжевым небом все было тихо, только холщовые лохмотья хлопали на ветру и ветки трещали.

Ветер улегся.

На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестираное белье. Они не шевелились.

«Это должно ее удержать», – сказала Лэтти и сжала мою руку. Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще. «Пойдем, надо отвести тебя домой».

Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечнозеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше по краю поля, где проклевывались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами; все так же держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек – черные, белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые, все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце.

«Что это?» – удивился я.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

У англичан есть поверье: если цветок лютика зажать под подбородком и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/nil-geyman/ocean-v-konce-dorogi-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)